

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВКА

Двадцать тарелок



Алексей Петровка

Двадцать тарелок

<https://litres.ru/74376578>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сорок три дня, двадцать постояльцев и одна кухня, где Ева угадывает о человеке больше, чем он говорит. Она знает, кто ест, что оставляет и почему в понедельник у шофёра подростка давление. В ноябре в санаторий привозят Бориса — чемпиона тяжёлого веса, который после травмы научился есть. Он смотрит в тарелку как в зеркало, и зеркало ему не нравится. Ева должна поставить его на ноги лечебным меню. Он должен встать и убедиться, что та улыбка из его памяти ему не приснилась. Но то, что Ева зовёт «помочь ему», Борис зовёт «дрессировкой». Что он съест, а что так и останется на тарелке?

Содержание

Двадцать тарелок	4
Прибытие	22
Ночной бульон	36
Карта Бориса	56
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Алексей Петровка

Двадцать тарелок

Двадцать тарелок

Ева нащупала вторую карточку в половине третьего ночи.

Пальцы сами нашли плотный прямоугольник под кипой старых бланков. Она вытянула его, не включая свет. Серая карточка, та же форма, тот же штамп санатория «Хвойное». В правом верхнем углу — красная буква.

Ева провела пальцем по мелу. Он осыпался сухой пылью, оставив на подушечке алый след. Она вытерла руку о халат, и на белой ткани осталась тонкая красная полоса.

Буква крошилась под пальцем. Та же буква, что и на карточке Бориса К., которую она видела вчера вечером. Только эта — выцветшая, полустёртая. И под ней — имя, от которого у Евы перехватило дыхание.

Максим. Двенадцать лет. Сахарный диабет, компенсированная форма. Питание: по протоколу «Б».

Ева закрыла глаза. Восемь лет назад. Интернат «Сосновый бор». Мальчик с диабетом, которому она составляла меню по стандартной схеме. Каша на молоке. Утром, натошак.

Ночью его увезли на «скорой».

Она открыла глаза и посмотрела на карточку. Красная

буква крошилась под пальцем, как будто её рисовали тем же мелом, что и новую, для Бориса К. Или, наоборот, новую рисовали тем же мелом, что и эту.

Ева положила карточку на стол. Открыла нижний ящик. Достала старую папку с надписью «Протоколы питания». Раскрыла. Внутри — стандартные диеты: №1, №5, №9. Никакого «Б». Она перелистала — пусто.

Закрыла папку. Открыла снова. Нет.

Она вернулась к столу, села на табурет. Перед ней лежали две карточки. Максим, двенадцать лет, умер. Борис, сорок три года, только что приехал.

Она взяла карточку Бориса и перечитала. «Спортивная травма, сотрясение, реабилитация». Ничего необычного. Кроме протокола «Б».

Она встала. Подошла к шкафу, где лежали дневники остатков за все годы. Достала тот, что за позапрошлый год. Перелистнула. Нашла.

«Максим, 12 лет: не доел завтрак, не доел обед, отказался от ужина». Записи за неделю. Потом — резко обрываются.

Она закрыла дневник. Открыла снова. На последней странице с записями — приписка, сделанная чужим почерком, синими чернилами: «Карточка изъята. Дело закрыто. Подпись — неразборчива».

Ева посмотрела на подпись. Она ничего ей не говорила.

Она положила дневник на стол и взяла карточку Бориса. Посмотрела на имя. Борис К. 43 года. Спортивная травма.

Ничего общего с Максимом. Кроме буквы.

Она провела пальцем по красной метке. Мел осыпался. Под буквой, почти невидимая, проступала карандашная надпись. Ева поднесла карточку к лампе. «Уведомить кухню. Держать порцию».

Держать порцию. На жаргоне санатория это значило: сокращать еду, недокладывать, чтобы сэкономить. Ева видела такие пометки в отчётах для города. Двойная бухгалтерия. Но в карточке пациента?

Она перевернула карточку. На обороте — почерк Анастасии, фиолетовые чернила: «Борис не должен знать о протоколе. Еда — его лечение. Порции не обсуждать».

Ева положила карточку. Взяла снова. Положила.

Взяла телефонную трубку, набрала номер медпункта. Анастасия не отвечала. Набрала вахту. Лёша ответил сонным голосом.

— Лёша, это Ева. Кто приехал ночью?

— Мужик. С костылями. Без сумки.

— Без сумки?

— Без. Врач сказал — всё в карточке.

Ева положила трубку. Без сумки. Странно. Обычно привозят хотя бы с вещами.

Она снова села за стол. Две карточки лежали перед ней. Одна старая, выцветшая, с полустёртой буквой. Одна новая, с ярким мелом. Обе — с протоколом «Б».

Она открыла нижний ящик. Там, под кипой старых блан-

ков, лежал потрёпанный дневник. Не казённый, а её собственный. Ева вытащила его. Корочка ободрана, углы загнуты. Она открыла на середине.

Запись восьмилетней давности, синие чернила, каллиграфический почерк. «Максим. Снова отказался от ужина. Надо настоять. Каша на молоке — он же ребёнок. Нельзя же, чтобы он худел».

Она перечла. Потом захлопнула дневник. Открыла снова. На последней странице — запись, которую она не помнила, как делала. «Я не знала. Я не могла знать. Я просто составляла меню».

Она провела пальцем по строчкам. Чернила расплылись от влаги. Она не помнила, когда плакала.

Она захлопнула дневник и убрала его в ящик. Достала карточку Бориса. Посмотрела на имя.

В коридоре слышались шаги. Тяжёлые, неровные. Один шаг — пауза. Ещё один.

Ева подняла голову. Дверь кухни приоткрылась. В проёме стоял мужчина. Высокий, худой, с костылём под мышкой. Лицо бледное, на скуле свежая ссадина. Он смотрел прямо на Еву.

— Вы кто? — спросила она.

— Борис. — Он шагнул в кухню, прикрыв за собой дверь.

— Мне сказали, здесь можно найти воды.

— Вода в столовой. Налево по коридору.

Он не двинулся. Стоял, опираясь на костыль, и смотрел

на стол. На карточки.

— Это моё? — спросил он.

Ева положила руку на карточку, прикрыв её ладонью.

— Это рабочие документы.

— Рабочие документы лежат в кабинете. — Борис шагнул ближе. — А это моё. Я видел такую в приёмном покое. С красной буквой.

Ева молчала.

— Я спросил у врача, что это значит. — Он остановился у стола, костыль стукнул о линолеум. — Он сказал: «Не обращайтесь внимания, это для кухни». Для кухни. Для вас.

Он взял карточку со стола. Перевернул. Прочитал.

Лицо его не изменилось. Ни один мускул не дрогнул. Но пальцы, державшие карточку, побелели, сжались так, что бумага смялась по краю. Он смотрел на букву долго, слишком долго, и Ева видела, как на его виске вздулась и забилась жилка.

Он положил карточку обратно на стол. Ровно в то же место. Руку убрал за спину, будто боялся, что она сделает что-то ещё.

— «Держать порцию», — сказал он. — Это значит, что меня будут недокармливать?

— Это значит, — сказала Ева, — что я не знаю, что это значит. Пока.

Он посмотрел на неё. Глаза тёмные, внимательные. Ева заметила, что у него нездоровая желтизна на белках.

— Вы здесь давно?

— Восемь лет.

— Тогда вы должны знать, что такое протокол «Б».

Ева покачала головой.

— Я не знаю. Я пытаюсь выяснить. Но выяснять — не моя работа. Моя работа — кормить.

— И хранить молчание, — сказал Борис. — Это тоже ваша работа?

Ева посмотрела на него. Он стоял, опираясь на костыль. Пальцы на рукояти побелели.

— Я не знаю, что вам сказать.

— Скажите правду. Что вы нашли в моей карточке?

— Ничего, что я могла бы объяснить.

Он хмыкнул. Опустился на стул у стола, тяжело, с кряхтением. Костыль прислонил к стенке. Его руки — большие, с обломанными ногтями — лежали на коленях. Одна из них подрагивала.

— Я не ел со вчерашнего дня. Меня привезли в четыре утра. Никто не предложил даже чая.

Ева встала. Подошла к плите. Поставила чайник. Достала из шкафа чашку, насыпала сухарей в блюдце. Поставила перед ним.

— Ешьте.

Он взял сухарь, надкусил. Жевал медленно, глядя в стол.

— Спасибо. Это первая нормальная еда за сутки.

Ева села напротив. Чайник закипал, пар поднимался над

носиком.

— Вы сказали, вас привезли в четыре утра. Кто?

— Санитары. Говорят, нашли на станции. Без вещей. Без документов. Только карточка.

— Как вы сюда попали?

Он посмотрел на неё. Усмехнулся — криво, одной стороной лица.

— Я думал, это вы мне расскажете.

Ева молчала. Она вспомнила карандашную надпись. «Уведомить кухню. Держать порцию». И на обороте — почерк Анастасии. «Борис не должен знать о протоколе».

— Мне нужно идти. У меня завтрак в шесть.

— Ещё рано. Половина четвёртого.

— Мне нужно подготовиться.

Она встала. Борис не двинулся. Сидел, глядя на неё.

— Вы боитесь меня?

— Я боюсь ошибок. — Ева поправила халат. — Ваша карточка — это ошибка, которую я пока не понимаю.

— И вы хотите её понять.

— Я хочу, чтобы вы дожили до выписки. Если это требует понимания — я буду понимать.

Она вышла из кухни, не оглядываясь. Прошла по коридору до кабинета Анастасии. Дверь была закрыта. Она постучала. Тишина. Постучала ещё раз.

Изнутри — шорох. Щёлкнул замок. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Анастасия — в халате на голое

тело, с растрёпанными волосами — смотрела на неё сквозь щель.

— Что?

— Я видела карточку Бориса. На обороте — твой почерк.

— И? — Анастасия скрестила руки на груди.

— Что такое протокол «Б»?

Анастасия молчала. Потом щёлкнула языком.

— Это не твоё дело, Ева. Ты готовишь еду. Я решаю, как её подавать.

— «Держать порцию» — это не «как подавать». Это — сколько еды давать.

— Это значит, что пациенту нужно строгое количество. Ни больше, ни меньше.

— Строгое количество прописано в меню. Я составляю его сама.

— Ты составляешь меню. Я корректирую порции по карточке. Так было всегда.

— Я никогда не видела таких пометок в карточках.

Анастасия усмехнулась.

— Ты видела только те карточки, которые тебе показывали. Остальные лежат в сейфе.

— В сейфе?

— В сейфе. — Анастасия поправила ворот халата. — Ева, я ценю твою работу. Но у тебя нет доступа к той части системы. И не будет. Если ты продолжишь задавать вопросы, я буду вынуждена доложить о тебе в главный корпус.

— Доложить?

— Доложить. — Анастасия сделала шаг назад. — Всё, Ева. Иди. У тебя завтрак через два часа.

Дверь захлопнулась. Щёлкнул замок.

Ева стояла в коридоре. Лампочка под потолком гудела. Пахло хлоркой и мокрой штукатуркой. Она перевела взгляд на дверь кабинета. Замок. Сейф.

Она вернулась в кухню. Борис сидел на том же месте. Доделал сухари. Чайник остывал на плите.

— Ну что? Узнали что-нибудь?

— Нет. Пока нет. Но я узнаю.

Она подошла к столу и взяла карточку Бориса. Красная буква крошилась под пальцем. Она стряхнула мел на ладонь, посмотрела на алую пыль. Потом вытерла руку о халат.

— Вы можете вернуться в палату?

— Могу. А что?

Ева посмотрела на часы. Половина пятого.

— Через два часа у вас будет завтрак. Я хочу, чтобы вы съели всё, что я положу. Даже если не захочется.

Борис усмехнулся.

— Я уже сказал: не ел со вчерашнего дня. Съем всё, что дадите.

— Хорошо. Тогда идите. Отдыхайте.

Он поднялся, опираясь на костыль. Прошёл мимо неё, остановился у двери.

— Вы знаете, я так и не понял, кто вы. Вы похожи на че-

ловека, который задаёт слишком много вопросов для заведующей кухней.

— Я не заведующая. Я просто готовлю еду.

— Ну да. — Он помолчал. — И поэтому вы держите в столе карточку ребёнка, который умер восемь лет назад.

Ева замерла.

— Откуда вы знаете?

Он не ответил. Вышел в коридор. Костыль стукнул по линолеуму. Шаги затихли.

Ева осталась одна. Двадцать тарелок вымыты, дневник остатков заполнен, кухня блестит. Всё под контролем. Кроме одной буквы.

Она подошла к столу. Взяла карточку Максима. Провела пальцем по красной букве. Мел осыпался на скатерть алой пылью. Она смахнула её на пол.

Она закрыла карточку. Открыла снова. Буква крошилась, как будто её рисовали тем же мелом, что и новую. Она поднесла карточку к лампе.

Карандашная надпись была полустёрта, но Ева смогла разобрать. «Уведомить кухню. Держать порцию». И на обороте, тем же почерком Анастасии: «Максим не должен знать о протоколе. Еда — его лечение. Порции не обсуждать».

Ева положила карточку на стол. Поверх неё — карточку Бориса. Красные буквы смотрели вверх. Одна выцветшая, одна яркая.

Она провела пальцем по обеим. Мел смешался на поду-

щечке — старая пыль и новая. Она вытерла руку о халат, оставив на белой ткани два красных следа.

— Я разберусь, — сказала она вслух. — Слышишь, Максим? Я разберусь.

Она закрыла дневник остатков. Погасила верхний свет. Оставила только настольную лампу — жёлтое пятно на столе, две карточки, красные буквы.

В коридоре снова слышались шаги. Лёгкие, быстрые, не таящиеся. Ева подняла голову. В дверях стояла Анастасия — уже в форме, с зачёсанными волосами. В руке — ключ.

— Ты ещё здесь.

— Да.

Анастасия подошла к столу. Посмотрела на карточки. Потом перевела взгляд на Еву.

— Я сказала тебе отойти от этого дела.

— Я не подходила к нему. Оно само пришло ко мне.

Анастасия взяла карточку Бориса. Повертела в руках. Посмотрела на красную букву.

— Ты знаешь, что это такое?

— Нет. Но ты знаешь.

— Ева. — Анастасия положила карточку на стол. — Я могу сделать так, что ты потеряешь эту работу. Прямо сейчас. И не найдёшь другую — во всей области.

— Можешь. Но тогда тебе придётся объяснить, почему ты уволила человека, который задавал вопросы о протоколе «Б».

Анастасия усмехнулась.

— Ты смелая. Это плохо. Смелость здесь не нужна.

— Здесь нужно знать, чем ты кормишь людей.

Анастасия молчала. Потом взяла карточку Максима. Посмотрела на неё. Вернула на стол.

— Протокол «Б» — это не про еду, — сказала она тихо. — Это про то, что еда — это лекарство. И лекарство не всегда должно быть приятным.

— Что это значит?

— Это значит, что есть пациенты, которым не нужно поправляться. Им нужно не ухудшаться. Для этого мы снижаем нагрузку на организм. Меньше пищи — меньше работы для органов.

— Ты хочешь сказать, что «держат порцию» — это голодать?

— Это не голодать. Это контролировать. Строго. По граммам. Без отклонений.

— Но почему Борис не должен знать об этом?

Анастасия посмотрела ей в глаза.

— Потому что если он узнает, что его недокармливают, он начнёт есть больше. А больше — нельзя. Его организм не справится.

— И кто решил, что его организм не справится?

Анастасия не ответила. Она взяла ключ с пояса, повертела его в пальцах.

— Ты задаёшь слишком много вопросов, Ева. Это опасно.

Для тебя.

— Для меня? Или для тебя?

Анастасия улыбнулась — одними губами.

— Для нас обеих. Иди домой. Завтрак будет.

Она вышла. Дверь закрылась за ней — ровно, тихо, без щелчка.

Ева осталась одна. На столе — две карточки. Красные буквы — старая и новая. Она взяла карточку Бориса и перевернула. На обороте, под почерком Анастасии, она заметила что-то ещё. Мелкое, почти стёртое.

Она поднесла карточку к лампе. На обороте, в самом углу, было нацарапано карандашом: «Б.К. — №7».

Седьмой номер. Ева открыла дневник остатков. Перелистнула на страницу с колонкой «№7». Запись: «Постоялец №7. Завтрак: не доел. Обед: не доел. Ужин: не доел. Состояние ухудшилось. Переведён в изолятор».

Ева посмотрела на дату. Три недели назад. До приезда Бориса.

Она закрыла дневник. Поставила на полку. Погасила лампу.

Кухня погрузилась в темноту. Только окно светилось мутно — фонарь у ворот горел сквозь снегопад.

Ева стояла в темноте и смотрела на окно. За стеклом — белая крупа, стена соснового леса, темнота. В темноте ей показалось, что за окном кто-то стоит. Она шагнула ближе. Никого. Только снег.

Она вышла из кухни. Прошла по коридору. У двери своей комнаты остановилась. Изнутри доносился звук — кто-то перебирал бумаги.

Она толкнула дверь. На её кровати сидел Борис. В руке — её дневник, раскрытый на странице о Максиме.

— Ты не имел права.

— Ты не имела права хранить это. — Он закрыл дневник, но не отдал. — Ты знала, что он умер. Ты знала, что это — из-за протокола «Б». И ты не сказала никому.

— Я не знала, что это из-за протокола. Я не знала, что такое протокол. Я просто составляла меню.

— Ты составляла меню. А кто-то другой решал, сколько еды достанется ребёнку. И этот кто-то решил, что меньше — значит лучше.

Он положил дневник на кровать.

— Ты веришь в это?

Ева молчала. Потом сказала:

— Я верю в то, что еда должна быть вкусной и достаточной. Всё остальное — не моя работа.

— Но это — твоя работа. Ты здесь. Ты знаешь. Ты молчишь.

— Я не молчу. Я просто не знаю, что говорить.

— Тогда спроси. Спроси у Анастасии, что такое протокол «Б». Спроси, почему ребёнок умер. Спроси, почему меня привезли без вещей.

— Я спрашивала.

— И что?

— Она сказала, что это не моё дело.

Борис усмехнулся. Встал с кровати. Костыль стукнул о пол.

— Ты — повар. Ты кормишь людей. Ты решаешь, что они едят. И тебе говорят, что это не твоё дело?

Ева молчала.

— Выбирай. Либо ты делаешь вид, что ничего не знаешь, и кормишь людей по протоколу «Б». Либо ты задаёшь вопросы и узнаёшь правду.

Он вышел. Дверь закрылась за ним.

Ева осталась одна. На кровати лежал её дневник. Она взяла его. Открыла на странице о Максиме. Прочитала. Закрыла. Открыла снова.

В коридоре — тишина. Только котёл гудел в котельной.

Ева села на кровать. Сняла халат. Белая ткань — с красной полосой от мела. Она посмотрела на неё. Потом положила халат на стул.

Завтра в шесть подъём. В семь — завтрак. Борис К., седьмой номер, не должен знать о протоколе «Б». Но он уже знает.

Она легла. Не спала. Смотрела в потолок.

В шесть, когда загудел будильник, она уже стояла в кухне. На столе — две карточки. Красные буквы — старая и новая.

Она взяла карточку Бориса. Перевернула. На обороте — почерк Анастасии: «Борис не должен знать о протоколе. Еда

— его лечение».

Она взяла карандаш и дописала внизу: «Борис знает. Отменить протокол».

Положила карточку обратно на стол.

В семь она понесла поднос в палату седьмого номера. Борис сидел на кровати. Смотрел на неё.

— Завтрак.

Она поставила поднос на тумбочку. На тарелке — каша на воде, сухари, чай. Полная порция.

Борис посмотрел на еду. Потом на неё.

— Это — по протоколу?

— Это — по-человечески.

Он взял ложку. Начал есть.

Ева стояла в дверях. Смотрела, как он ест. В руке у неё была карточка — карточка Максима. Она сжала её. Красная буква крошилась.

Она вышла в коридор. Закрыла дверь палаты.

Анастасия уже стояла у кухни. В руке — карточка Бориса. Перевернутая. Ева увидела её приписку — «Борис знает. Отменить протокол».

— Ты это написала?

Ева молчала.

Анастасия посмотрела на неё. Потом разорвала карточку пополам. Бросила обрывки в мусорное ведро.

— Ты уволена. Собери вещи. К одиннадцати тебя здесь не будет.

Она развернулась и пошла по коридору. Шаги — быстрые, ровные.

Ева осталась одна. В руке — карточка Максима. Красная буква крошилась под пальцем.

Она посмотрела на обрывки в мусорном ведре. Одна половинка — с надписью, вторая — с припиской «Держать порцию».

Она нагнулась, достала обрывки. Сложила вместе — карточка склеивалась по сгибу, буквы встали на место.

Ева положила карточку в карман халата. Обрывки — тоже.

В палате седьмого номера Борис доедал кашу. Ложка звенела о тарелку. За окном — снег. Мокрый, липкий, падал на сосны.

Ева вышла на крыльцо. В руке — пакет с вещами. В кармане — карточка Максима и обрывки карточки Бориса.

Она зашагала по дорожке к воротам. Снег скрипел под ногами. За спиной — корпус санатория, окна, в одном из них — силуэт Анастасии.

Ева не обернулась.

У ворот она остановилась. Достала карточку Максима. Посмотрела на неё. Красная буква крошилась под пальцем. Она стряхнула мел на снег. Алая пыль легла на белую поверхность.

Она положила карточку на снег, у самого забора. Обрывки карточки Бориса — рядом. Ветер шевельнул их, приподнял,

бросил обратно.

Ева пошла дальше. Дорога вела к станции. Снег падал всё гуще. За спиной — ничего. Впереди — ничего.

Только красная буква, которую она стёрла с пальцев о халат, осталась на белой ткани — маленький алый след, похожий на отметку.

Дорога сворачивала к лесу. Ева остановилась. Достала из кармана обрывки карточки Бориса. Сложила их вместе, буква к букве. «Держать порцию». Она перевернула. «Борис не должен знать о протоколе. Еда — его лечение».

Она разжала пальцы. Ветер подхватил обрывки, понёс их к забору, бросил в снег. Ева смотрела, как они темнеют на белом, пропитываясь влагой.

Потом достала карточку Максима. Посмотрела на неё. Красная буква крошилась под пальцем. Она стряхнула мел на ладонь, посмотрела на алую пыль. Подула. Пыль разлетелась, осела на снег.

Она знала, куда идти — и что там найдёт ещё одну карточку с красной буквой.

Прибытие

Следы на снегу раздваивались, и Ева остановилась, чтобы понять, куда идти.

Один уходил к дороге, к расчищенному участку. Другой — назад, к корпусу, белому, как застывшая хлорка.

Кто-то стоял здесь долго. Топтался, мерз, решал. Потом вернулся.

Ева переложила пакет в другую руку. Внутри звякнула банка с остатками каши, и она завязала узел туже, чтобы не звенело. В кармане куртки лежала карточка Максима и обрывки, сложенные из клочков, найденных у Бориса. Острые края бумаги впивались в ладонь, когда она сжимала пальцы.

До поворота оставалось метров сто. Дорога была расчищена, но снег уже ложился поверх, скрывая чужие следы. Её собственные — от крыльца до этого места — ещё читались, тёмные, чёткие.

Впереди, у самого поворота, стояла фигура в белом халате, накинутом на куртку. Фигура курила. Ветер дул в другую сторону, но Ева видела дым — тонкий, сизый, он тянулся к небу и растворялся в снегопаде.

Ева подошла ближе. Антонина. Наушники висели на шее поверх халата, белые, как хлорка на дне ведра.

— Уже выходите? — Антонина кивнула на станцию, не вынимая сигарету изо рта. — А я думала, вы у нас надолго.

Все новые сначала бегут.

— Я не бегу. Я иду.

Антонина усмехнулась. Стряхнула пепел на снег — он лёг на белую корку серым следом и не провалился.

— Вы Бориса-то видели? — спросила она. — Я сегодня утром мимо столовой шла, а он сидит один, тарелку пододвинул к окну. Смотрит на котлету. Не ест.

Ева сжала пакет плотнее.

— Он сегодня на завтрак был. Ел кашу.

— Котлету? — Антонина прищурилась. — Он же диабетик. Ему котлета — как яд. Все диабетики сначала едят, а потом мучаются.

Ева остановилась. Пакет в руке перестал звякать.

— Диабетик? В его карточке не было отметки.

Антонина медленно выдохнула дым.

— А вы разве карточки читали? Или вы только по остаткам угадываете, кто что ел?

Ева смотрела на руки Антонины. Пальцы, державшие сигарету, были жёлтые от никотина, но ногти чистые, аккуратные. Слишком аккуратные для санаторной кухни.

— Не знаю, о чём вы.

— Конечно, не знаете. — Антонина улыбнулась, но улыбка не долетела до глаз. — Вы здесь три дня. А я — двадцать лет. Я в этом корпусе каждый угол знаю. И каждый шкаф. И каждый карман.

Она потушила сигарету о перила, бросила окурочек в снег.

Окурок зашипел, погас. Антонина стряхнула снег с плеча, поправила наушники и пошла к корпусу, не оглядываясь.

Ева стояла на дороге. В карточке Бориса не было отметки о диабете. Ни в его, ни в той, что она сложила из обрывков. Ни одной пометки.

Но Антонина знает.

Ева смотрела, как белый халат мелькнул между деревьев и пропал. Пакет стал тяжёлым. Она поставила его на снег, разжала пальцы, сжала снова. Бумага в кармане впилась в ладонь.

Она повернула обратно.

Снег скрипел под ногами, громче, чем раньше. Она почти бежала, но когда тело подошло к крыльцу, ноги замедлили шаг сами. Она не знала, что скажет Борису. Она не знала, зачем идёт.

Пакет она поставила у двери, как будто собиралась вернуться.

Корпус стоял тёмный. Окна столовой светились жёлтым — единственное живое пятно на белой стене. Ева толкнула дверь.

Запах хлорки и мокрой штукатурки ударил в лицо, смешался с холодом, висевшим в коридоре. Коридор был пуст, только у лестницы маячил Лёша, сутулый, смотрел мимо неё, куда-то в угол, на одинокую лампочку.

— Столовая закрыта, — сказал он, не глядя. — Уборка.

— Борис ещё там?

Лёша промолчал. Но взгляд его — раскосый, мимо — скользнул к двери в конце коридора. Скользнул и вернулся к лампочке.

Ева пошла туда.

Дверь столовой была прикрыта, но не заперта. Ева толкнула её. Внутри горел только дальний свет, над раздачей. Окна в зале были тёмные, и снег царапал стёкла — тихий, сухой звук, как ноготь по коже.

Слева, у окна, сидел Борис. Спиной к ней. Перед ним — тарелка. Пар уже остыл, над котлетой висела тонкая плёнка жира, матовая, как лёд на луже.

Борис не обернулся. Рука его лежала на столе, костяшки сжаты, как будто он сдерживал себя, чтобы не начать стучать. Но пальцы дрожали. Мелко, едва заметно. Дрожь шла от запястья, как будто внутри заведён мотор, который он не мог выключить.

Ева подошла ближе. Шаги скрипели по полу, но он не обернулся.

— Борис.

Он дёрнул плечом.

— Вам нельзя сюда. Я думал, вы ушли.

Она села напротив, через стол. Тарелка стояла нетронутая, но по котлете прошёл нож — глубокие надрезы, как будто Борис резал её, а есть не стал. Рядом — кучка хлебных крошек и соль, насыпанная горкой.

— Вы не ели.

— Ел. Кашу.

— Это было до меня.

Он взял нож, провёл по тарелке. Сухой, царапающий звук, как будто скоблили лёд. Нож оставил белую полосу на эмали.

— Диабет. Не голоден.

Она смотрела на надрезы. Ровные, геометрические. Как будто он репетировал. Репетировал, что скажет, когда его спросят.

— В вашей карточке нет отметки о диабете.

Он замер. Нож застыл в воздухе, на полпути к тарелке. Кончик лезвия дрожал — мелко, как игла на аппарате, который снимает кардиограмму.

— Вы читаете чужие карточки?

— Вы не ответили.

Борис положил нож. Медленно положил, как будто взвешивал, не треснет ли лезвие. Потом повернул голову. Глаза тёмные, под ними — тени, как синяки, которые не проходят.

— В моей карточке нет ничего, что вам надо знать. Понятно?

Ева не отвела взгляда. Она смотрела на его руки. Пальцы легли на край стола, сжались, побелели.

— Можно я вам соль подвину? — сказала она.

Она потянулась через стол. Рука легла на солонку, и она толкнула её к нему, легко, по касательной. Солонка проскользнула по скатерти, стукнула о край тарелки. Резкий звук, как выстрел в тишине.

Борис дёрнулся. Рука метнулась к тарелке — не поймать, а закрыть, спрятать. Ладонь накрыла котлету. Но не до конца. Ева успела увидеть.

Под котлетой, на краю тарелки, лежал кусок хлеба. Надкусанный. Следы зубов — мелкие, частые, как будто он грыз его по краю, как крыса грызёт корку. Хлеб был мятый, тёплый ещё.

— Вы едите хлеб, но не едите мясо.

Борис отдёрнул руку, как от горячего. Сунул хлеб в карман халата. Движение было быстрое, резкое, но она видела, как дрожали его пальцы, когда он запихивал хлеб в карман, как будто это была не еда, а улика.

— Я не обязан перед вами отчитываться.

— Отчитываться — нет. Но вы врёте. В карточке нет диабета. Вы едите хлеб, но не едите мясо. И вы режете котлету ножом, как будто она — не еда, а что-то другое.

Борис поднял на неё глаза. Тёмный, тяжёлый взгляд. Он сглотнул, и кадык дёрнулся, как будто он глотал не слюну, а осколок стекла.

— Вы слишком много видите. Это опасно.

— Опасно для кого?

Он не ответил. Рука снова легла на стол, и костяшки отстукивали дробь. Медленную, ровную. Раз-два-три. Раз-два-три. Ритм, который он не мог остановить.

В дверях столовой зажёгся свет. Оба обернулись.

Антонина стояла на пороге. Наушники на шее, в руке —

чашка с остывшим чаем. Тёмным, почти чёрным, с мутью на поверхности.

— Борис, вы такой бледный. — Голос звонкий, как удар по стеклу. — Наверное, диабет замучил? Вам бы в процедурную, а не котлеты резать.

Борис встал. Стул скрипнул по полу — резко, с визгом, как будто по стеклу провели ножом.

— Меня ничего не мучает.

— Типичное дело. — Антонина не сдвинулась с места. Чашка в её руке не дрогнула. — Все говорят «не мучает», пока не упадут. Вы же с сотрясением, а всё туда же. Вам покой нужен.

Борис замер. Губы сжались в нитку, как будто он сдерживал слово, которое уже было на языке. Он перевёл взгляд с Антонины на Еву и обратно. Рука, та, что держала нож, — сжалась в кулак. Но он не ударил.

— Откуда вы знаете про сотрясение?

Антонина улыбнулась. Белые наушники качнулись.

— А я всё знаю. Я здесь гостя, но не глухая.

Она резко повернулась и пошла по коридору. Тапочки шаркали. Чашка не плеснула — она несла её ровно, как медсестра несёт поднос с инструментами.

Борис стоял, глядя ей вслед. Потом перевёл взгляд на Еву.

— Вы тоже пришли меня лечить? Все вы приходите лечить, а потом уходите.

Она не ответила. Она смотрела на его руку, лежавшую на

столе. Костяшки отстукивали дробь — медленную, ровную. Раз-два-три. Раз-два-три.

Она видела этот ритм раньше.

У Максима. Когда он сидел на кухне, за три дня до того, как всё случилось. Он тоже стучал костяшками по столу — раз-два-три, раз-два-три — и говорил, что всё хорошо, что не надо беспокоиться, что у него просто бессонница. Он стучал, и на столе перед ним лежал надкусанный хлеб, и он грыз его по краю, мелкими, частыми укусами, как будто боялся, что хлеб отберут.

Максим был тёплый. Она помнила, как он смеялся, когда был маленький, как тёрся носом о её плечо, как звал её «мам» и «мамуля». И как стучал костяшками по столу, когда врал. Он всегда стучал, когда врал. Он стучал и говорил «всё хорошо», и она верила, потому что хотела верить.

Ева пододвинула к нему салфетку. Борис не взглянул.
— Съешьте хлеб. Вам станет легче.

Борис поднял на неё глаза. Холодные, напряжённые. Он смотрел долго, и в этом взгляде не было обороны. Был голый нерв, открытый, натянутый, как струна, которая вибрирует от любого прикосновения. Он моргнул — медленно, как будто веки были тяжёлыми, — и на секунду прикрыл глаза, пряча этот нерв.

— Не трогайте прошлое. Оно хуже этой котлеты.

Он взял тарелку, сгрёб надрезы одной ладонью, как мусор, бросил на поднос. Поднос звякнул — громко, резко. Развер-

нулся и пошёл к выходу. В каждом шаге — не твёрдость, а натянутая струна, которая могла лопнуть в любой момент. Он шёл, не оглядываясь, и спина его была прямой, но плечи — сведённые, высоко поднятые, как будто он ждал удара.

Ева стояла у стола. Пахло хлоркой и мокрым снегом. Она смотрела на пустую тарелку с горкой соли, которую он не тронул. Соль осталась насыпанной, как маленький курган.

Она взяла щепотку, растёрла между пальцев.

При диабете соль не запрещена. Он сказал, что диабет. Он сказал, что не голоден. Но соль не тронул. И хлеб грыз — а хлеб при диабете запрещён не меньше, чем мясо.

Она посмотрела на пальцы. Соль лежала на коже, белая, мелкая, как пепел. Она растёрла её, и соль впиталась, оставив только влажный след.

Ева вышла в коридор.

Борис стоял у лестницы, спиной к ней. Свет над ним горел тусклый, жёлтый, и тень от него ложилась на стену — длинная, перекошенная. Она подошла ближе. Он обернулся — но не на неё, а на окно, за которым падал снег. Снег ложился на подоконник, таял, стекал по стеклу тонкими ручьями, как слёзы по лицу.

Она проследила за его взглядом и увидела, что на подоконнике, в углу, лежит надкусанный кусок хлеба. Тот самый, что он прятал в карман. Он не заметил, что обронил.

— Ты даже не притронулся к котлете, — сказала она. Негромко.

Он молчал. Но костяшки сжались на перилах. Пальцы побелели, как будто он держался за них, чтобы не упасть.

— С Максимом я тоже так думала.

Он медленно поднял голову. Впервые за всё время — посмотрел ей прямо в глаза. Тяжёлый, тёмный взгляд. Он сглотнул, и кадык дёрнулся снова, резко, как будто он глотал не слюну, а осколок стекла.

— Кто такой Максим?

И в его голосе, впервые с их встречи, она услышала не оборону. А голый нерв, открытый, натянутый, как струна, которая вибрирует от любого прикосновения. Он произнёс это имя — Максим — как будто оно было ему знакомо. Как будто он ждал, что она его произнесёт.

Ева не ответила. Соль ещё лежала на её пальцах, белая, мелкая, как пепел. Она поднесла пальцы к губам — машинально, не думая, — и слизнула соль. Солёная, резкая. От неё захотелось пить.

Борис смотрел на неё. Рука его лежала на перилах, и костяшки отстукивали дробь — раз-два-три, раз-два-три. Медленную, ровную. Ритм, который он не мог остановить.

— Максим грыз хлеб по краю, — сказала она. — Всегда. Сначала корку, потом мякиш. Он говорил, что так вкуснее.

Борис перестал стучать. Рука замерла на перилах, пальцы побелели, сжались, как будто он держался за них, чтобы не упасть.

— Это ваш сын?

Она не ответила.

— Он пропал три года назад. Вы его ищете.

Ева смотрела на него. На его руки. На хлеб, который лежал на подоконнике, надкусанный, с мелкими следами зубов по краю. Она не сказала «да». Она не сказала «нет». Она просто стояла и смотрела, и соль ещё лежала на пальцах, и она не стряхнула её.

Снизу, с вахты, донёсся голос Лёши, сонный, всё мимо:

— Постоялец седьмой. Паспорт готовьте.

Борис дёрнулся, как от электрического разряда. Отпустил перила, сунул руку в карман халата — туда, где лежал хлеб. Не вынул его. Просто нащупал, как нащупывают оберег, и пальцы сжались на хлебе, как на спасательном круге.

Ева смотрела на его карман. На оттопыренную ткань.

— Вы знали Максима. — Не спросила. Сказала.

Борис молчал. Рука всё ещё лежала в кармане, на хлебе, и пальцы сжимали его, как будто хлеб мог защитить от вопроса.

— Я не знал никакого Максима.

— Вы сказали «кто такой Максим» с ударением на «такой». Как будто вы знали, кем он был для меня.

Борис переступил с ноги на ногу. Лестница скрипнула — громко, жалобно.

— Вы мне снитесь, — сказал он. — Или я вам. Не могу понять.

— Не снитесь.

Он смотрел на неё долго. Потом перевёл взгляд на окно, на снег, который падал и падал, и на подоконник, где лежал надкусанный хлеб. Рука его вынула из кармана другой кусок — тот самый, что он прятал, — и он посмотрел на него, как будто видел в первый раз.

— Хлеб — это память. — Голос тихий, хриплый. — Я его ем, чтобы помнить.

— Помнить что?

Он не ответил. Повернулся и пошёл вверх по лестнице. Шаги тяжёлые, медленные, и она слышала, как он считает ступени — шёпотом, одними губами. Раз. Два. Три. Четыре.

Ева осталась стоять в коридоре.

Соль ещё лежала на пальцах, белая, мелкая. Она не стряхнула её. Она смотрела на лестницу, где он исчез, и думала о том, что он сказал не «я не знал», а «я не знал никакого Максима». С ударением на «никакого». Как будто он знал, что Максим был именно такой. Или как будто он знал, кем Максим был для неё.

Она поднесла пальцы к носу. Соль пахла холодом и хлоркой.

Она вышла на крыльцо. Снег лепил в лицо, и пакет стоял там, где она его оставила, — у двери, как будто она собиралась вернуться.

Она подняла пакет. Он был лёгкий, почти пустой.

Она не пошла к станции.

Она пошла обратно, в корпус. Снег скрипел под ногами,

и в кармане куртки лежала карточка Максима и обрывки, сложенные из клочков, найденных у Бориса, и она сжимала их в руке, пока края бумаги не впились в ладонь.

Внутри пахло хлоркой. Она прошла мимо вахты, где Лёша смотрел в потолок, мимо столовой, где на столе ещё лежала горка соли, мимо лестницы, где на перилах ещё не высохли следы его пальцев.

Она поднялась на второй этаж, к его двери.

Постучала.

Тишина.

Она постучала ещё раз. Громче.

За дверью — скрип кровати. Шаги. Медленные, тяжёлые. Она услышала, как он подошёл к двери, как замер, как прижался к ней. Слышала его дыхание — неровное, с хрипотцой.

— Кто там?

— Ева. Откройте.

Пауза. Долгая. Она слышала, как он дышит. Как не решается.

— Я не могу.

— Можете.

Тишина. Она слышала, как он прижался лбом к двери. Как стоит там, по ту сторону, и не открывает.

— Я не могу, — повторил он.

Она прижалась лбом к двери. Холодная, гладкая, как лёд. Она слышала его дыхание. Он слышал её. Они стояли так

— по разные стороны двери, разделённые деревом, хлоркой, мокрым снегом — и никто не открывал.

Она сказала:

— Максим грыз хлеб по краю. Всегда. Сначала корку, потом мякиш. Он говорил, что так вкуснее.

Тишина. Долгая. Она слышала, как он перестал дышать. Как замер — весь, целиком.

Потом — тихий, скрипучий звук. Как будто он провёл ладонью по двери, по дереву, как по лицу.

Он сказал:

— Я знаю.

За дверью — стук костяшек. Раз-два-три. Раз-два-три. Медленный, ровный ритм, который он не мог остановить. Ритм, который она слышала раньше. Ритм, который она слышала в той квартире, за три дня до того, как всё случилось.

Она прижалась лбом к двери сильнее. Холодная, гладкая, как лёд. Она слышала его дыхание. Он слышал её. И между ними — только дерево, хлорка, мокрый снег.

— Откройте, — сказала она. — Пожалуйста.

Тишина.

Потом — щелчок замка.

Ночной бульон

Дверь приоткрылась на ладонь — ровно столько, чтобы увидеть его глаза.

Он не отступил. Держался за косяк, пальцы побелели. В коридор из палаты тянуло холодом и застарелой пылью.

— Вы знали Максима, — сказала она. — Вы сказали «я знаю» не про хлеб.

Он молчал. Смотрел на неё поверх щели, и в этом взгляде не было ничего, кроме усталости. Пальцы на косяке сжались крепче.

— Я принесла бульон, — она подняла термос. — Вам нужно поесть.

— Мне нужно, чтобы вы ушли.

— Съешьте — станет легче.

Он усмехнулся коротко, без звука. Открыл дверь шире, пропуская её внутрь.

В палате было темно. Свет из окна падал на койку с серым одеялом, на тумбочку, на стопку журналов на подоконнике. Он закрыл дверь и сел на кровать. Спина прямая, руки на коленях.

Она поставила термос на тумбочку.

— Нальёте?

— Я не голоден.

— Это не про голод.

Он поднял голову. Глаза тёмные, почти чёрные. Смотрел на неё, и она видела, как он что-то решает, взвешивает, отбрасывает.

— В раз сорок умерло — переживу, уйду.

— Не переживёте. Протокол «Б» вас убивает.

Она сказала это тихо, почти шёпотом. Борис не вздрогнул. Он только посмотрел на окно, где за стеклом падал снег — густой, белый, ровный.

— Вы знали, — сказала она. — Вы знали о протоколе. Вы знали с самого начала.

Он не ответил. Пальцы его левой руки начали отстукивать по колену — раз-два-три. Раз-два-три. Она слышала этот ритм прежде, в другой палате, где под таким же серым одеялом лежал Максим.

— Вы видели дневник, — сказала она. — Вы нашли его и прочитали. Вы знали, что Максим — мой сын. И вы ничего не сказали.

— Вам лучше уйти.

— Я не уйду, пока вы не поедите.

Она открыла крышку термоса, налила бульон в металлическую кружку. Тёплый пар поднялся в воздух. Она протянула кружку ему. Он взял её двумя руками — и она увидела.

Тремор.

Пальцы дрожали мелкой, едва заметной дрожью. Кружка качалась, бульон плескался через край, тёмными каплями на

серое одеяло. Он перехватил кружку крепче, сжал — и она увидела, как напряглись жилы на его кистях.

— Борис.

— Это от холода. Трубы ледяные.

Он поставил кружку на тумбочку. Быстро, почти грубо, как будто она его обожгла. Пальцы спрятал в кулаки.

— Вы диабетик, — сказала она. — У вас диабет, который не лечат. И протокол «Б» — это не просто порции. Это голод. Держать вас на голоде, чтобы вы не поднялись. Чтобы вы остались здесь, пока не умрёте.

Он поджал губы. Смотрел мимо неё — на дверь, на окно, на снег за стеклом.

— Я не спрашиваю, откуда вы знаете.

— Антонина сказала. Она всё знает. И она сказала мне вернуться.

— Антонина, — он выдохнул это имя, как ругательство. — Эта женщина знает слишком много, чтобы быть просто гостьей.

— Она старая. Она двадцать лет здесь живёт. Она видела, как они увозят людей. Она видела, как увозили Никиту.

Борис замолчал. Смотрел на свои руки, на пальцы, которые всё ещё подрагивали. Она видела, как он сжимает их, как прячет.

— Вы знали Максима, — сказала она. — Как?

Он долго не отвечал. Потом поднял голову, и она увидела в его глазах что-то, чего не видела раньше. Хотя нет — ви-

дела. У Максима.

— Он был здесь. Два месяца. Я его знал. Я пытался ему помочь.

— Чем?

— Тем же, чем вы сейчас. Едой. Разговорами. Мы сидели на этой койке. Он грыз хлеб по краю — сначала корку, потом мякиш. Говорил, что так вкуснее. Он всё время говорил про вкус. Про то, что вкус — это единственное, что не забирают.

Она замерла. Стояла посреди палаты, сжимая крышку от термоса, и слушала, как чужой человек говорит ей про её сына.

— Что случилось потом?

— Потом вы устроили ему полную порцию. Он съел всё. И через день у него поднялся сахар.

Она слышала, как Борис продолжает говорить — сухо, ровно, без капли жалости:

— Вы дали ему то, что ему нельзя было есть. Вы не знали про его диабет. В карточке не было отметки. Но он не сказал вам, потому что думал, что если узнаете — вы его выпишете.

— Он не ел сахар, — сказала она. — Я проверяла. Я готовила ему без сахара.

— Это был не сахар. Это был хлеб. Белый хлеб. Одна булка, с маслом. Он съел её всю за один присест. Он сказал, что вы дали ему её как премию. За то, что он поел нормально.

Она закрыла глаза. Столовая, утро, Максим с тарелкой. Она положила ему два куска хлеба — свежего, мягкого, с

маслом. Он посмотрел на неё и улыбнулся. Впервые за неделю.

— Я не знала.

— Я знаю. Вы не знали. Никто не знал. Он сам не знал. Ему сказали, что у него истощение. Лечили от истощения. Пока не стало поздно.

Она открыла глаза. Борис сидел на кровати, сгорбившись, сжав руки в кулаки. Смотрел в пол.

— Вы вините меня, — сказала она.

— Я виню себя. Я знал про его диабет. Он сказал мне. За день до того, как вы дали ему хлеб. Он попросил меня не говорить вам.

— Почему?

— Потому что боялся, что вы будете его лечить. Вы слишком близко всё принимаете. Вы бы стали следить за каждым его куском. Он не хотел, чтобы вы видели, как он боится.

Она села на стул у стены. Ноги не держали.

— После того, как его увезли, я нашёл ваш дневник, — сказал Борис. — Он лежал в тумбочке. Я прочитал всё. Про Максима. Про ошибку восьми лет. Про то, как вы винули себя. И я понял, что вы не то чтобы злая. Вы просто слепая. Вы видите тарелки, но не видите людей за ними.

Она не ответила.

— Вы принесли бульон, — сказал он. — Зачем?

— Чтобы вы поели.

— Еда меня не лечит. Еда меня убивает. У меня диабет,

который не лечится, потому что никто не знает о нём. А вы приносите мне бульон, в котором может быть сахар, и говорите — съешьте, станет лучше.

Она посмотрела на кружку. На тёмную жидкость, пар над ней.

— Я не клала сахар. Овощной бульон, без соли, без сахара.

— А откуда мне знать, что вы не положили?

Он сказал это не зло. Устало. Как человек, который привык не верить.

— Мне нечего вам дать, кроме еды, — сказала она. — Я больше ничего не умею.

— Научитесь видеть. Это всё, что я прошу.

Он поднял кружку. Поднёс к губам. Пил медленно, глоток за глотком, и она видела, как дрожат его пальцы.

Борис допил бульон и поставил кружку на тумбочку. Пальцы всё ещё дрожали. Она протянула ему ложку — на случай, если он захочет вычерпать остатки со дна. Он посмотрел на ложку. Отодвинул её. Молча. Она убрала ложку в карман халата.

— Теперь уходите, — сказал он. — Утром будет сложнее.

— Я вернусь.

— Зачем?

— Чтобы накормить вас завтраком.

Он посмотрел на неё. Долго. Потом усмехнулся — криво, без веселья.

— Повар, который кормит смертью.

Она встала. У двери обернулась:

— Вы знаете, кто инициировал протокол?

Борис молчал. Смотрел в окно.

— Если вы расскажете, они меня убьют, — сказал он. —

И не за то, что я знаю. А за то, что вы узнали.

Она взялась за ручку двери. Он не остановил её. Только сказал, когда она уже открыла дверь:

— Там, в коридоре, не останавливайтесь. Идите сразу к себе.

— Почему?

— Потому что за вами следят. Уже следят.

Она вышла в коридор. Дверь закрылась у неё за спиной. Из-за двери снова доносился стук костяшек — раз-два-три. Раз-два-три.

Коридор был пуст. В конце — окно, за ним снегопад. Белый, ровный, тихий.

Она прижалась спиной к стене. Скользнула по ней вниз, на пол. Сидела на холодном кафеле, обхватив колени, сжимая в руке крышку от термоса. Бульон Борис выпил. Он выпил его. А ложку отодвинул. Она видела, как его пальцы сомкнулись на кружке, как он держал её — бережно и отчаянно. И как отодвинул ложку.

Тихий звук за спиной. Она обернулась. Дверь палаты снова приоткрылась — на ширину ладони. Борис стоял в проёме, держась за косяк.

— Вы сказали, что вернётесь завтра, — он помолчал. — Так идите спать. У вас будет длинный день.

Она посмотрела на него. В его глазах — усталость. И что-то ещё.

— Спокойной ночи, — сказала она.

— Пойдёт, — ответил он и закрыл дверь.

Она осталась на полу. Вставать не хотелось. Свет в конце коридора мигнул. Она подняла голову. В дальнем конце, у лестницы, стоял человек. Мужчина. В тёмной куртке, каких она здесь не видела — у персонала были серые халаты, у гостей — пальто. Он стоял неподвижно, смотрел в её сторону. В руке у него был журнал, обёрнутый в полиэтилен. Она видела, как он переложил его из одной руки в другую — медленно, заметно. Как будто хотел, чтобы она увидела.

Она не отвела взгляд. Он тоже не отвёл. Потом развернулся и пошёл вниз. Шаги стихли. Хлопнула дверь внизу.

Она поднялась. Пошла к себе. В столовой было темно. На плите стояла кастрюля с борщом — она оставила её с вечера, чтобы разогреть на завтрак. Крышка была приподнята.

Она не поднимала её.

Ева подошла ближе. Крышка лежала на плите рядом, а не на кастрюле. Половник, который она всегда клала крест-накрест, был сдвинут в сторону. Она заглянула в кастрюлю. Борщ на месте. Ничего не пропало. Но кто-то был здесь. Кто-то, кто аккуратно поднял крышку и так же аккуратно положил её обратно.

Запах хлорки смешивался с запахом борща. Она постояла над кастрюлей, потом закрыла крышку. Заперла дверь столовой на задвижку. Впервые за двадцать лет.

Утром она проснулась до будильника. Светало медленно, серо. Умылась ледяной водой, переоделась, подошла к окну. Снег за ночь замёл всё. На ровной белой поверхности не было следов. Ни одного.

Она пошла в палату Бориса. Коридор был пуст. Та же хлорка, тот же мокрый пол. Она шла медленно, считала шаги. Дверь палаты была приоткрыта.

Она толкнула её. Борис сидел на койке, одетый, в пальто. На коленях — рюкзак.

— Вы собрались.

— Собрался. — Он не поднял головы. — Меня переводят.

— Куда?

— В «Зелёный берег».

Она знала это название. Больница на севере, куда отправляли пациентов, которые не шли на поправку. Оттуда не возвращались.

— Когда?

— Сегодня. Через час.

Она вошла в палату. Закрыла за собой дверь.

— Кто решил?

— Заведующий. Сказал, что так лучше для меня. Ночью приходили.

— Кто?

— Не знаю. Двое. В серых халатах. Смотрели мои документы. Спросили, знаю ли я женщину, которая ухаживает за больными.

Она почувствовала, как внутри всё сжалось.

— Вы сказали?

— Сказал, что вы заходили, приносили еду. Что вы — повар. Что мне не на что пожаловаться.

Он поднял голову. В его глазах — та же усталость, что вчера.

— Они знают про вас. Ваш визит к Никите. Ваши ночные обходы. Они сказали, что вы слишком любопытны для повара.

Она молчала.

— Вам нужно уходить, Ева. Не завтра. Сегодня. Возьмите документы, деньги, всё, что есть. И уходите.

— Куда?

— Не знаю. Там, за забором, есть город. Или лес. Или железная дорога. Куда угодно, где нет этого учреждения.

Она подошла к окну. Снег падал ровно, бело, тихо. Она подумала о Максиме. О белом хлебе. О том, как её сын грыз корку по краю, потому что так вкуснее.

— Я не уйду, — сказала она.

— Это не храбрость. Это глупость.

— Пусть.

Он посмотрел на неё долго. Потом встал, подошёл к тумбочке, выдвинул ящик. Достал сложенный лист бумаги. Про-

тянул ей.

— Это адрес. Мой, старый. Если выйдете — там есть люди, которые мне помогали. Они знают про протокол. Они помогут и вам.

Она взяла лист. Не развернула. Спрятала в карман халата.

— Вы вернётесь? — спросила она.

— Не знаю. Если вернусь — вы тут.

— Я тут.

Он усмехнулся — криво, без веселья.

— Повар, который кормит смертью.

— Я не кормлю смертью. Я кормлю людей.

— Иногда это одно и то же.

Он подхватил рюкзак. Остановился в дверях.

— Вы не спрашиваете, кто инициировал протокол.

— Вы сами не скажете.

— Не скажу. Потому что это не знание. Это смерть. И не моя. Ваша.

Он вышел. Она осталась в палате. Снег всё шёл. Она стояла у окна, сжимая в кармане лист бумаги, и думала о Максиме. О хлебе. О том, как он улыбался ей из-за тарелки.

За дверью послышались шаги. Она обернулась. В дверях стоял человек в сером халате — тот самый, что вчера стоял у лестницы с журналом.

— Ева, — сказал он. — Заведующий вас ждёт.

Она сжала лист бумаги в кармане. Снег за окном падал, ровный, белый, тихий. Она шагнула к двери, но человек не

посторонился.

— Что ему нужно? — спросила она.

— Он это скажет сам.

Он посторонился, пропуская её. Она пошла по коридору, чувствуя его взгляд между лопаток. Считала шаги. Семнадцать до поворота. Двадцать три до лестницы. Запах хлорки становился сильнее — значит, она приближалась к процедурной.

Заведующий сидел за своим столом. Перед ним — открытая папка. Она стояла в дверях, не заходя.

— Проходите, Ева. Садитесь.

Она прошла. Села на стул. Он смотрел на неё поверх очков — спокойно, внимательно, как смотрят на насекомое под стеклом.

— Бориса Николаевича перевели в «Зелёный берег», — сказал он. — Вы в курсе.

— Да.

— Хорошо. Он написал заявление, что вы ухаживали за ним. Это создаёт определённые сложности.

— Какие сложности?

— Вы — повар. Вы не имеете права ухаживать за пациентами. Это нарушение.

Она молчала.

— Я мог бы закрыть на это глаза, — продолжал заведующий. — Но я не буду. Вы слишком долго работаете здесь, чтобы не знать правила.

— Я знаю правила.

— Тогда почему вы их нарушаете?

— Потому что он умирал.

Заведующий снял очки. Протёр их краем халата. Надел обратно.

— Все здесь умирают, Ева. Это больница. Но не все ходят к умирающим с термосом бульона.

— Максим умер, — сказала она. — Я не хотела, чтобы он умер.

Заведующий посмотрел на неё долго. Потом закрыл папку.

— Вы свободны. Продолжайте работать. Но если я ещё раз узнаю, что вы заходите к пациентам — я вас уволю. Без выходного пособия. Без рекомендаций. Вы понимаете?

— Понимаю.

— Идите.

Она встала. У двери остановилась.

— Кто инициировал протокол «Б»?

Заведующий поднял голову. Взгляд его стал жёстче.

— Это не ваше дело.

— Максим умер из-за него.

— Максим умер из-за хлеба. Который дали вы.

Она смотрела на него. Он смотрел на неё. Потом она вышла в коридор и закрыла дверь.

В столовой она достала из кармана лист бумаги, который дал Борис. Развернула. Адрес был написан карандашом,

мелким, убористым почерком. Ниже — имя: «Сергей. Скажите, что от Бориса».

Она сложила лист. Спрятала обратно в карман.

На плите стояла кастрюля с борщом. Крышка была опущена. Она подняла её — борщ был на месте. Половник лежал крест-накрест, как она клала. Вчера кто-то сдвинул его. Сегодня — нет. Может, ей показалось.

Она помешала борщ. Он был готов. Она разлила его по тарелкам — для персонала, для Антонины, для себя. Отнесла поднос Антонине в комнату. Та сидела у окна, смотрела на снег.

— Бориса увезли, — сказала Ева.

— Знаю. Слышала, как хлопнула дверь. — Антонина не обернулась. — Он тебе что-нибудь дал?

— Дал адрес.

— Спрячь. Не носи с собой. Они проверяют карманы, когда думают, что ты спишь.

Ева поставила поднос на стол.

— Заведующий сказал, что уволит меня, если я ещё раз пойду к пациентам.

— И что ты решила?

— Не знаю.

Антонина повернулась. Глаза у неё были светлые, почти белые, и смотрели спокойно.

— Ты спрашивала его про протокол?

— Спрашивала. Он сказал, что это не моё дело.

— Конечно. Потому что это его дело. Его и тех, кто сверху. — Антонина взяла ложку, помешала борщ. — Слушай меня, Ева. Я двадцать лет здесь живу. Я видела, как они забирают людей. Как они делают вид, что ничего не происходит. У тебя есть шанс уйти. У Бориса его не было. У Максима — тем более. Не будь душой.

Ева стояла у двери.

— Если я уйду, кто будет кормить их?

— Они найдут кого-нибудь. Они всегда находят.

Антонина принялась за суп. Ева вышла в коридор. Запах хлорки снова ударил в нос — она поморщилась. Пошла в столовую. Дверь в палату Бориса была открыта. Внутри уже убирали — санитарка снимала серое одеяло с койки.

— Стой, — сказала Ева.

Санитарка обернулась.

— Что?

— Я заберу одеяло. Постираю.

Санитарка пожала плечами, бросила одеяло на стул. Ева взяла его. Поднесла к лицу. Запах — чужой. Болезненный. Она сжала одеяло в руках и вышла.

В прачечной она загрузила одеяло в машину, засыпала порошок, включила. Смотрела, как вода закручивается, как ткань темнеет, намокая. Одеяло было серым. После стирки оно станет таким же серым. Ничего не изменится.

Она стояла, смотрела на стиральную машину. В кармане халата лежал лист бумаги с адресом. Человек по имени Сер-

гей. Она не знала его. Не знала, жив ли он. Не знала, захочет ли говорить с ней. Но лист был тёплый, и она держала его пальцами через ткань халата, как держат что-то живое.

Стиральная машина закончила. Она вытащила одеяло — мокрое, тяжёлое. Понесла сушить во двор. На верёвке уже висели простыни — они замёрзли и стояли колом, как доски. Она повесила одеяло рядом. Оно тоже начало замерзать.

Она стояла во дворе, смотрела на замёрзшие простыни. Снег падал на её плечи, на одеяло, на землю. Она не двигалась.

Дверь столовой была заперта. Она отперла. Вошла. На плите — пустая кастрюля. Она вымыла её. Поставила на место. Достала овощи для завтрашнего супа: картошку, морковь, лук. Начала чистить.

Нож скользнул по пальцу. Она посмотрела на порез — тонкая красная линия. Сунула палец в рот. Вкус железа. Она чистила дальше, но палец болел, и она сжимала его под струёй ледяной воды, пока не онемел.

Вечером она снова пошла к палате Бориса. Дверь была закрыта и заперта. Она постояла перед ней. Потом повернулась и пошла к себе.

В столовой было темно. Она легла на кушетку, не раздеваясь. Смотрела в потолок. Снег за окном падал, ровный, белый, тихий. Она думала о Борисе. О его пальцах, которые дрожали. О ложке, которую он отодвинул. О том, как он сказал: «Научитесь видеть».

Она закрыла глаза. И увидела Максима. Он сидел за столом, перед ним тарелка. Она положила ему два куска хлеба — свежего, мягкого, с маслом. Он посмотрел на неё и улыбнулся. Впервые за неделю.

Ева открыла глаза. Встала. Подошла к плите. Выдвинула ящик, где лежали её документы — паспорт, трудовая книжка, справка о состоянии здоровья. Всё было на месте.

Она достала паспорт. Полистала. Внутри лежал сложенный лист — адрес Бориса. Она сунула его обратно. Закрыла ящик.

На кухонном столе лежала ложка — та самая, которую она протягивала Борису. Он отодвинул её. Она взяла ложку. Повертела в руках. Положила обратно.

Снег за окном не прекращался. Она подошла к окну, упёрлась ладонями в подоконник. В отражении стекла — её лицо. Она не узнавала его. Оттуда смотрела женщина с тёмными глазами и серым лицом. Женщина, которая кормила смертью.

Она отошла от окна. Выключила свет. Легла. Закрыла глаза.

Утром она проснулась до будильника. Встала. Умылась. Переделась. Подошла к окну — снег всё шёл. Следов на нём не было. Она надела халат, вышла в коридор. Запах хлорки ударил в нос.

Она дошла до кабинета заведующего. Постучала.
— Войдите.

Она вошла. Заведующий поднял голову от бумаг.

— Я увольняюсь, — сказала она.

Он снял очки. Посмотрел на неё.

— Почему?

— Потому что я больше не могу здесь работать.

— Это связано с Борисом Николаевичем?

Она молчала.

— Ева. Если вы уйдёте — вы потеряете всё. Стаж, пенсию, жильё.

— Я знаю.

— Вы подумали?

— Да.

Он смотрел на неё долго. Потом кивнул.

— Как хотите. Напишите заявление. Сегодня — за свой счёт. Завтра — расчёт.

Она кивнула. Вышла.

В столовой она села за стол. Достала лист бумаги. Ручку. Начала писать заявление. Рука дрожала — мелко, едва заметно.

Она дописала. Поставила подпись. Сложила лист пополам. Понесла в кабинет. Заведующий взял лист, прочитал, кивнул.

— Завтра с утра — расчёт. Сдайте ключи от столовой, халат, сменную обувь. Имущество проверят.

— Хорошо.

Она вышла. Пошла в столовую. Достала ключи. Положила

на стол. Сняла халат. Повесила на спинку стула. Стояла в коридоре — в своём платье, без халата. Впервые за двадцать лет.

Она пошла к прачечной. Одеяло Бориса висело на верёвке — замёрзшее, стоящее колом. Она подошла, сняла его. Одеяло было жёсткое, ледяное. Она сжала его в руках и понесла к себе.

В комнате она положила одеяло на кушетку. Села рядом. Погладила его — жёсткое, холодное. В кармане пальто лежал паспорт с листом бумаги внутри. Она достала лист. Развернула. Прочитала адрес ещё раз. Человек по имени Сергей. Она не знала его. Не знала, жив ли он. Не знала, захочет ли говорить с ней.

Она сложила лист. Убрала в карман. Встала. Подошла к окну. Снег падал, ровный, белый, тихий. Она смотрела на него и не видела.

— Вы уходите? — спросил он.

— Да.

— Жаль. У нас хорошо готовите.

Она молчала.

— Заведующий сказал, что вы подали заявление. — Он вошёл в комнату без приглашения. Подошёл к столу, провёл пальцем по поверхности. — Не боитесь?

— Чего?

— Того, что будет с вами там, за забором. Никто вам не поможет. Никто не накормит. Вы будете одна.

— Я и здесь одна.

Он усмехнулся.

— Умная. Это хорошо. Но умные долго не живут. Особенно здесь.

Он вышел. Она осталась стоять. В кармане пальто — лист бумаги с адресом. Она сжала его пальцами через ткань.

Она стояла в коридоре, глядя на дверь палаты Бориса. Потом повернулась и пошла к выходу. Взялась за ручку двери, ведущей на улицу. За стеклом — снег, ровный, белый, тихий. Она открыла дверь и шагнула в снегопад.

Ева шагнула в коридор, и дверь за ней закрылась — но она знала, что вернётся. Вопрос был не в том, когда, а в том, кто выйдет отсюда живым.

Карта Бориса

Кухня пахла остывшей капустой и мокрым полом. Борис сидел за дальним столом, перед ним стояла полная тарелка. Он не ел. Он смотрел на еду так, будто она могла укусить.

Ева вошла тихо, но он услышал. Костяшки пальцев прощлись по столешнице — три удара, пауза, ещё два. Он взял хлеб, повертел его в руках, положил обратно. Взял снова. Отломил край.

— Съешь, — сказала она. — Тебе станет лучше.

Он усмехнулся углом рта.

— Сорок раз умирал — переживу и теперь.

Она подошла ближе. Тарелка была нетронута. Котлета лежала ровно, без надрезов. Хлеб — целый, не надкусанный, только один отломанный край, который он сжимал в кулаке. Крошки сыпались на стол, как мелкий снег.

— Ты не ел со вчерашнего утра.

— Я не голоден.

— Это неправда.

Он поднял голову. Глаза у него были красные, под ними — тёмные мешки. Он снова отстукал ритм по столу. Крошки разлетелись от удара.

— Отстань, Ева.

Она села напротив, на табурет, который скрипнул под ней. Положила руки на стол, ладонями вверх. Жест, который она

использовала с самыми трудными.

— Я знаю про диабет, Борис.

Он замер. Руки остановились на полпути к столешнице.

— Кто сказал?

— Антонина.

— Антонина много говорит.

— Но не врёт.

Он откинулся на спинку стула. Стул жалобно скрипнул. Он смотрел в окно, где снег опускался сплошной пеленой.

— Тебе нельзя голодать, — сказала она. — При диабете это опасно. Ты же знаешь, что сахар может упасть, и тогда...

— И тогда что? — он перебил её. — Я упаду. Встану. Или не встану. Какая разница.

— Борис.

Она не повысила голос. Она вообще редко повышала. Но в этом одном слове было столько веса, что он обернулся.

— Скажи мне, — она наклонилась вперёд. — Почему ты не ешь? Ты же знаешь, что голодание тебе противопоказано.

Он молчал долго. Она видела, как под кожей на его скулах перекачиваются желваки. Он смотрел мимо неё, на стену, где висело старое расписание дежурств. Буквы на нём выцвели до серых теней.

— Потому что, — начал он, и голос его сел. Он откашлялся. — Потому что еда — это дрожь в пальцах и бетонный привкус на языке.

— Я не понимаю.

— Я тоже не понимал. Пока не начал есть по-настоящему.

Она ждала. Он взял хлеб, повертел в руках, положил обратно. Отломил другой кусок. Сжал его так, что крошки посыпались сквозь пальцы.

— Когда я ем, сахар скачет. Я его чувствую. Каждую минуту. Каждый час я думаю: а сейчас? а упаду? а не встану? — он сжал край стола. — Когда я не ем, я не чувствую ничего. И это спокойно.

— Это не спокойно. Это медленное убийство.

— Может быть. Зато контролируемое.

Она откинулась на спинку стула. Доска под ней жалобно скрипнула.

— У тебя на карте написано «голодание по назначению». Я видела, когда искала твою карточку.

Он усмехнулся.

— Ты искала мою карточку?

— Да.

— Зачем?

Она помедлила. Он заметил это. Его пальцы снова легли на столешницу, но не отстучали — просто замерли, широко расставленные, как будто он ловил равновесие.

— Ты врала когда-нибудь так, чтобы себя защитить? — спросил он. — Чтобы не впускать?

— Впускать — не всегда плохо.

— Плохо, когда впускают и потом жалеют.

Он встал, подошёл к окну. Снег за стеклом шёл густо, кто-

то вытряхивал небо. Он стоял к ней спиной, и она видела, как поднимаются и опускаются его плечи, как пальцы левой руки вцепились в подоконник — белые, с натянутой кожей.

— На карте нет голодания, — сказал он тихо. — Это ошибка. Или специально.

— Что?

Он обернулся. Глаза у него были пустые.

— Я видел свою карту. Там написано «голодание по ошибке». Кто-то внёс это в систему вчера. Или позавчера. Я не знаю.

— Кто-то из персонала?

— Не знаю. Но это не врач.

Он вернулся к столу, сел. Взял хлеб, отломил кусок. Но не поднёс ко рту. Сжал в кулаке. Крошки посыпались на стол, как мелкий снег.

— Я думал, это ты сделала. Чтобы отстранить меня от еды. Потому что знаешь про диабет.

— Я бы так не сделала. Никогда.

— Я знаю. Но я думал.

Он посмотрел на неё. Что-то в его взгляде сломалось — она видела, как он пытается удержать лицо, но не может. Он отвёл глаза. Отстучал ритм. Три удара. Пауза. Два.

— Это четвёртое сотрясение за год, — сказал он почти шёпотом. — Мне не назначили МРТ.

Она замерла.

— Что?

— Четыре раза я падал. И каждый раз — сотрясение. Но МРТ не назначили. Врач сказал: «Сотрясение — это просто сотрясение. Отлежишься».

Её взгляд упал на его руки. Они дрожали, когда он сидел неподвижно. Он не замечал этого. Или замечал, но привык.

— Борис. Тебе нужно МРТ. Сотрясение четыре раза за год — это...

— Я знаю, что это.

Он отложил сжатый хлеб. Крошки остались на столе.

— Но никто не назначил. Никто даже не спросил, как я упал в первый раз. И во второй. И в третий.

— А как?

Он задержал на ней взгляд. Она видела, как он решает — сказать или нет.

— Я не помню.

— Не помнишь?

— Я не помню, как упал. Ни разу. Я просто приходил в себя. На полу. Или в снегу. Или в коридоре. И рядом — пусто.

Она молчала. Он взял хлеб, отломил ещё кусок. Теперь он держал его, но не ел. Просто сжимал, и крошки сыпались на стол.

— Ты думаешь, это не случайность? — спросила она.

— Я думаю, — он отстучал ритм, — я думаю, что кто-то хочет, чтобы я не встал. Один раз. Насовсем.

— Кто?

— Не знаю. Но если ты найдёшь мою карту — там всё

враньё. Голодание. Сотрясение. Даже дата поступления.

— Я найду.

Он посмотрел на неё.

— Ты уже уволена.

— Я вернулась.

— Зачем?

Она перекрутила прядь волос на палец. Потом отпустила.

— Потому что ты не ел двое суток. Потому что тебе нужен кто-то, кто будет смотреть на твою тарелку. Потому что я не могу смотреть, как люди умирают от голода.

Он усмехнулся. Уголки губ дрогнули, но глаза остались тёплыми.

— Ты хорошая, Ева. Слишком хорошая для этого места.

— Не настолько хорошая. Я позволила Максиму съесть белый хлеб.

Он кивнул. Медленно. Потом взял кусок хлеба и надкусил. Она смотрела, как он жуёт — медленно, осторожно, каждый кусок мог быть последним.

— Спасибо, — сказал он.

— Не за что.

Она встала. Взяла его тарелку, отнесла в мойку. Включила воду — горячую, чтобы пар поднялся к лицу. Она стояла там, сжав край раковины, и слушала, как за спиной он жуёт хлеб. Костяшки пальцев прошлись по столешнице. Три удара. Пауза. Два.

— Ева.

Она обернулась.

— Не ходи к заведующему. Он не скажет правду.

— Я уже иду.

Она выключила воду. Вытерла руки о халат, на ходу снимая его. Он смотрел на неё с порога кухни, и в его взгляде было что-то, от чего у неё перехватило дыхание, — древняя усталость, которая старше любых имён.

— Вернись, — сказал он.

— Вернусь.

Она вышла в коридор. Пол под ногами гудел — где-то внизу работал генератор, и вибрация поднималась через стены, через половицы, через подошвы её стоп. Она сжала в кармане лист бумаги — что осталось от его карты, сложенное вчетверо. И пошла к кабинету заведующего, хотя каждый шаг отдавался в груди чем-то тяжёлым и холодным.

Коридор тянулся мимо палат, мимо процедурной, мимо комнаты, где Антонина стирала бельё и откуда пахло хлоркой.

Дверь заведующего была приоткрыта. Жёлтый свет падал на порог тонкой полосой. Она слышала голоса.

— Я не знал, что он на голодании. Карта была переведена вчера.

— Переведена? Кем?

— Системой. Автоматически. Ты же знаешь, как это работает.

— Я знаю, как это работает. И знаю, что система не пере-

водит карты сама. Нужен доступ.

— У меня есть доступ.

— У тебя есть доступ ко всему отделению. Это делает тебя ответственным.

Голос заведующего — низкий, уставший, без металла. Второй голос — женский, сухой, с картофельным оттенком. Ева не узнала его. Она прижалась плечом к стене, стараясь не дышать.

— Я не переводил карту Бориса.

— Я не спрашиваю, переводил ли ты. Я спрашиваю, кто мог.

— Не знаю. Антонина? Она сидит на кухне, у неё есть доступ к диетическим картам. Но она...

— Антонина не умеет пользоваться системой.

Женщина замолчала. Ева слышала, как скрипнул стул.

— Ты знаешь, что Ева вернулась? — спросила женщина.

— Знаю.

— Она искала карту Бориса.

— Она искала. Но не нашла. Я перевёл её в архив до её прихода.

— Ты перевёл?

— Я перевёл.

Ева сглотнула. Её собственное имя, произнесённое этими голосами, звучало как чужая вещь, найденная в чужом кармане.

Она сделала шаг назад. Потом ещё один. Дверь осталась

приоткрытой, жёлтая полоса света лежала на пороге, и она шагнула через неё, не постучав.

Заведующий поднял голову. Женщина — высокая, в сером пиджаке, с папкой в руках — обернулась. Ева узнала её: Светлана Борисовна, старший координатор по питанию. Та самая, которая утверждала меню на месяц вперёд.

— Ева, — сказал заведующий. — Мы не закончили.

— Я слышала.

Он не изменился в лице. Только положил ладонь на стол, рядом с папкой, и прижал её.

— Вы подслушивали.

— Я шла к вам. Дверь была приоткрыта.

Светлана Борисовна усмехнулась. Уголки губ дрогнули, но глаза остались холодными.

— Вы уволены, Ева. Вы это знаете.

— Знаю.

— И всё равно вернулись.

— Я вернулась за Борисом.

Заведующий поднялся. Он был выше, чем она помнила, — или это свет так падал. Он подошёл к окну, повернулся к ней спиной.

— Светлана, оставь нас.

Женщина помедлила. Потом взяла папку, вышла, закрыв дверь с мягким щелчком. Ева осталась одна с заведующим.

— Ты слышала, — сказал он, не оборачиваясь.

— Да.

— И что ты думаешь?

— Я думаю, что вы знаете больше, чем говорите.

Он обернулся. Лицо у него было серое, уставшее, под глазами — мешки.

— Я знаю, что у Бориса четвёртое сотрясение за год. Я знаю, что ему не назначили МРТ. Я знаю, что в его карте стоит пометка, которую я не ставил.

— Вы не ставили?

— Нет.

Она сделала шаг вперёд.

— Тогда кто?

Он вернулся к столу, сел. Жёлтый свет лампы лежал на его руках — крупных, с жёсткими суставами. Он открыл ящик стола, достал карту. Красная буква «Б» на обложке крошилась по краям, как сухая краска.

— Садитесь, Ева.

Она не села.

— Я не хочу садиться. Я хочу знать.

— Я хочу, чтобы вы подписали соглашение.

Он положил перед ней лист бумаги. Она посмотрела на него — тонкий, с синим штампом в углу.

— Что это?

— Соглашение о неразглашении. Всё, что вы увидите в карте Бориса, останется здесь.

— А если не подпишу?

— Тогда вы выйдете отсюда. Навсегда.

Она сжала край стола. Пальцы побелели.

— И Борис останется на голодании. И никто не узнает, почему.

Он не ответил. Он просто смотрел на неё, и в его взгляде не было ни угрозы, ни сочувствия. Только усталость, глубокая, как колодец.

— Подписываю.

Он подвинул ей ручку — старую, обгрызенную, с тёмными пятнами на корпусе. Она взяла её. Подписала. Поставила дату. Отдала.

Он взял лист, посмотрел на подпись, положил в ящик стола. Потом открыл карту.

— Смотрите.

Она наклонилась. На карте Бориса, в разделе «Режим питания», стояла пометка. Чёрная, жирная. «Голодание по ошибке». Исправление было сделано поверх старой записи, и эту старую запись она увидела: «Держать порцию».

Она подняла голову.

— Что значит «держат порцию»?

Он закрыл карту.

— Это значит, что вы подписали соглашение. И это останется здесь.

— Нет. — Она не отводила взгляда. — Вы сказали, что не ставили пометку. Но вы знаете, что значит эта запись.

Он молчал долго. Она видела, как он смотрит сквозь неё, куда-то в стену, где висело старое расписание дежурств.

— «Держать порцию» — это старый код, — сказал он наконец. — Мы использовали его в девяностых. Когда питание нормировали строже. Это значило: не уменьшать порцию. Не заменять продукты. Держать её ровно.

— Почему это написано поверх?

— Потому что кто-то перевёл карту в новый формат. И код не совпал с новыми настройками. Система записала его как «голодание по ошибке».

Она смотрела на него. Он не отводил взгляда.

— Вы хотите сказать, что это просто техническая ошибка?

— Я хочу сказать, что это не было сделано намеренно.

Она сжала край стола. Пальцы побелели.

— Но сотрясения. Четыре сотрясения за год. И никакого МРТ.

— Я назначу МРТ.

— Когда?

— Завтра утром. Я уже говорил с неврологом.

Она не ожидала этого. Она открыла рот, но не нашла слов. Он смотрел на неё, и в его взгляде не было торжества.

— Вы думали, я знаю, но молчу, — сказал он. — Да? Вы думали, я часть этого.

— Я не знала.

— Теперь знаете.

Она посмотрела на карту. Красная буква «Б» на обложке крошилась по краям, её трогали сотни раз. Она открыла ко-

пию, которую он положил перед ней — тонкую, на простой бумаге. Нашла раздел «Травмы». Четыре записи. Четыре сотрясения. За год. Между третьей и четвёртой — дата, которая пересекалась с приездом нового санитара. Она замерла.

— Когда приехал санитар? — спросила она.

— Какой санитар?

— Новый. Из третьего корпуса.

Он нахмурился.

— Не знаю. Я не слежу за перемещениями персонала. Это не моя зона.

— Но это может быть связано.

— Связано? С чем?

Она закрыла карту.

— С тем, что Борис падает. И не помнит, как.

Он посмотрел на неё. Долго.

— Вы думаете, что кто-то из персонала?

— Я думаю, что это не случайность.

Он взял карту, положил в ящик стола. Закрыв его. Щелчок замка прозвучал как точка.

— Ева. Вы подписали соглашение.

— Я помню.

— Вы не будете копать.

— Я буду лечить Бориса. Это другое.

Он поднялся.

— Это не другое. Это неотделимо.

Она смотрела на него. Он не отводил взгляда.

— Вы знали, что Борис падал и раньше? — спросила она.

— Да.

— И вы не назначили МРТ?

Он сел обратно. Лицо у него было серое, уставшее.

— Я не знал про сотрясения. Карта была переведена в другую систему. Я не видел её до сегодняшнего утра.

— Кто перевёл?

— Система. Автоматически.

— Вы сказали, что система не переводит карты сама.

Он замолчал. Она смотрела на него, и она видела, как он решает — сказать или нет. Он взял ручку, повертел её в руках. Положил.

— Есть один человек, у которого есть доступ ко всем картам. Не только к диетическим. К медицинским. К архиву. К протоколу «Б».

— Кто?

Он поднял голову.

— Я.

Она не отступила.

— Вы сказали, что не переводили карту.

— Я сказал, что не переводил карту Бориса. Но доступ есть у меня. И у координатора по питанию.

— Светлана Борисовна?

— Да.

— Она могла перевести?

Он пожал плечами.

— Могла. Но зачем ей это? Она отвечает за меню, не за сотрясения.

Ева взяла копию карты со стола. Сложила вчетверо. Положила в карман халата.

— Я не знаю, зачем, — сказала она. — Но я узнаю.

Он поднялся.

— Ева. Не копайте.

— Я не копаю. Я просто смотрю.

Она вышла в коридор. Дверь закрылась за ней с мягким щелчком. Она стояла в темноте, прижав карту к груди. Пульс отдавал в висках.

Она сжала карту так, что край впился в ладонь. В ушах всё ещё стоял стук его костяшек: три удара, пауза, два.

Она сделала шаг. Потом ещё один.

В конце коридора горела тусклая лампа. Под ней стоял Антон — сантехник, с тёмными полукружиями под глазами. Он держал в руках ящик с инструментами.

— Не спится? — спросил он.

— Не спится.

— Слышал, ты была у заведующего.

Она промолчала. Он кивнул на карту в её руке.

— Это карта Бориса?

— Откуда ты знаешь?

Он пожал плечами.

— Антонина говорила. Она беспокоится.

Она посмотрела на него. Длинные пальцы, тёмные пятна

на костяшках. Он перехватил ящик поудобнее.

— Знаешь, как работать с картами? — спросила она.

— Немного. Антонина просила помочь с меню, когда система зависла.

— Покажешь?

Он помедлил.

— Зачем тебе?

— Хочу посмотреть, кто переводил карту Бориса.

Он смотрел на неё. Потом кивнул.

— Пойдём. В ординаторской есть компьютер.

Она пошла за ним. Запах хлорки стал слабее, смешиваясь с запахом машинного масла от его куртки.

Ординаторская была маленькая, с одним окном. Свет горел. Он сел за компьютер, она встала за его спиной.

— Какая карта?

Она назвала номер. Он ввёл его в систему. Экран мигнул.

— Это не архив, — сказал он.

— Что?

— Карта Бориса в основной системе. Не в архиве. Кто-то вернул её.

Она наклонилась ближе. На экране была карта Бориса. Раздел «Режим питания». Пометка «Голодание по ошибке» была выделена жёлтым. Рядом — маленькая иконка «Исправлено».

— Кем исправлено?

Антон кликнул. На экране появилось имя: Светлана Бо-

рисовна.

Ева смотрела на экран. Пальцы холодели.

— Она исправила пометку?

— Нет. Она вернула карту в основную систему. Пометка осталась.

— Но она могла исправить. Если знала, что это ошибка.

Антон пожал плечами.

— Могла. Но не исправила.

Он посмотрел на неё.

— Ты знаешь, что она утром была у заведующего?

— Я знаю.

— Она спрашивала про тебя.

— Что спрашивала?

— Вернулась ли ты. И где ты была.

Ева встала.

— Спасибо, Антон.

Он кивнул. Она вышла, закрыв за собой дверь.

Коридор был пуст. Она стояла, прижав карту к груди, и думала о Светлане Борисовне. О координаторе по питанию, которая вернула карту в основную систему, но не исправила пометку. Она зажала карту так, что угол впился в ладонь.

— Ева.

Она обернулась. Антон стоял в дверях ординаторской.

— Ты знаешь, когда приехал новый санитар?

Она смотрела на него.

— Месяц назад. В конце месяца.

— А Борис упал в первый раз — когда?

Она открыла рот. Потом закрыла.

— Он упал в первый раз за неделю до приезда санитара.

Антон покачал головой.

— Нет. Первая запись в карте — за два дня до приезда.

Но есть ещё одна. Раньше. В архиве.

— Что?

— Я видел, когда искал карту. Там была старая запись. За три месяца до первой. Тоже сотрясение.

Она смотрела на него. Он не отводил взгляда.

— Почему ты мне это говоришь? — спросила она.

— Потому что это уже пять, — сказал он. — Пять сотрясений за год. И все — в одном корпусе.

Он повернулся и ушёл в ординаторскую. Дверь закрылась.

Она стояла в коридоре, прижав карту к груди. Пять сотрясений. Не четыре. Пять. И все — в одном корпусе. Она посмотрела на карту. Раздел «Травмы». Четыре записи. Пятая — в архиве, которую она не видела. Кто-то стёр её. Или перевёл.

Она сунула карту в карман и пошла к комнате, где Антонина стирала бельё. Запах хлорки стал сильнее, смешиваясь с мокрой штукатуркой. Антонина обернулась, когда она вошла. Руки у неё были в мыльной пене, и она вытерла их о фартук.

— Ева. Ты вернулась.

— Вернулась.

— Борис ел?

— Хлеб. Один кусок.

Антонина кивнула. Она наклонилась, подняла корзину с мокрым бельём, поставила на край ванны.

— Ты знаешь, кто внёс пометку в его карту?

Антонина замерла. Потом медленно выпрямилась.

— Пометку?

— «Голодание по ошибке». Кто-то перевёл карту в новую систему. Кто?

Антонина покачала головой.

— Я не знаю. Я не умею работать с системой. Мне Антон показывает, когда меню меняют.

— Антон?

— Сантехник. Он иногда сидит в ординаторской, помогает с компьютером, — она пожала плечами. — Он говорит, что у него дочь в медицинском, учится. Он знает, как с картами обращаться.

Ева смотрела на неё. Антонина отвела взгляд.

— Ты не говорила мне про Антона.

— Ты не спрашивала.

Ева достала карту из кармана, развернула. Показала Антонине раздел «Травмы».

— Четыре сотрясения за год. Ты знала?

Антонина посмотрела на бумагу. Потом отвела глаза.

— Я знала, что он падает.

— И ничего не сказала.

— Я не знала, что это сотрясения. Он не жаловался. Он вообще не говорит про то, что с ним.

Ева сложила карту. Положила в карман.

— Спасибо, Антонина.

— Ева, — окликнула она. — Будь осторожнее. Этот Антон — он не такой простой, каким кажется.

Ева остановилась. Обернулась.

— Что ты имеешь в виду?

Антонина пожала плечами. Она взяла корзину с бельём, понесла к сушилке.

— Просто будь осторожнее.

Ева вышла из прачечной. Коридор был пуст. Она шла к своей комнате, держа карту в кармане, и каждый шаг отдавался в груди.

— Ева.

Антон стоял в конце коридора. Ящик с инструментами он поставил на пол.

— Я нашёл то, что ты просила.

Она остановилась.

— Что?

Он подошёл ближе. В руке у него был лист бумаги, распечатанный на старом принтере, с размытыми буквами.

— Старая карта Бориса. Из архива. Ты просила показать, кто переводил.

Он протянул ей лист. Она взяла. На бумаге был список операций с картой. Даты. Время. Имена. Последняя запись

— вчера, 23:47. «Перевод в основную систему. Оператор: Светлана Борисовна».

— А это, — он ткнул пальцем в строку выше, — за месяц до этого. «Редактирование раздела „Травмы“. Оператор: неизвестен».

Она посмотрела на строку. В графе «Оператор» стояло: «Система. Автоматически».

— Система не редактирует сама, — сказал он. — Это всегда человек.

Она подняла голову.

— Кто?

— Не знаю. Но это было в тот же день, когда приехал новый санитар.

Она смотрела на него. Он не отводил взгляда.

— Откуда ты знаешь, когда приехал санитар? — спросила она.

Он пожал плечами.

— Я здесь работаю. Я знаю, кто когда приехал.

Он поднял ящик и пошёл по коридору. Она смотрела ему вслед.

Она открыла дверь своей комнаты. Вошла. Закрыла за собой.

Она села на кровать, достала карту из кармана, развернула её на коленях. Раздел «Травмы» был перед ней. Четыре записи. Четыре сотрясения. За год.

Между третьей и четвёртой — дата. Она посмотрела на

неё. Пальцы сами сжали край бумаги. Первая запись была от руки, остальные — типографским шрифтом. Третья — с пометкой: кто-то переправил число, но небрежно, кончик буквы торчал вверх. Она почувствовала, как её собственное дыхание участилось.

Она поднялась с кровати, подошла к столу, где лежал журнал сменных наблюдений, который она вела сама. Открыла на неделе, когда приехал новый санитар. Провела пальцем по строкам. Даты совпадали.

Она закрыла журнал. Положила карту сверху.

Она взяла журнал, надела халат, вышла в коридор.

Кабинет заведующего был заперт. Замок — новый, блестящий, с царапиной у скважины. Она потрогала царапину пальцем. Металл был холодный.

Она пошла в ординаторскую. Свет там горел. За компьютером сидел Антон. Он поднял голову, когда она вошла.

— Ева. Не спится?

— Не спится.

Он подвинул стул. Она села.

— Ты работаешь с картами? — спросила она.

Он пожал плечами.

— Иногда. Антонина просит помочь с меню. А что?

— Мне нужно посмотреть одну карту. Старую. Из архива.

Он посмотрел на неё. Руки его лежали на клавиатуре — длинные пальцы, с тёмными пятнами на костяшках.

— Карты из архива смотреть нельзя. Только по запросу

заведующего.

— У меня есть разрешение.

— Покажи.

Она достала из кармана сложенное соглашение, развернула. Он посмотрел на подпись. Кивнул.

— Ладно. Какой номер?

Она назвала номер карты Бориса. Он ввёл его в систему. Экран мигнул. Он нахмурился.

— Это не архив. Это основная система.

Ева встала.

— Спасибо, Антон.

Он кивнул. Она вышла, закрыв за собой дверь. Коридор был пуст. Она стояла, прижав карту к груди, и думала о Светлане Борисовне. О координаторе по питанию, которая вернула карту в основную систему, но не исправила пометку. О дате, которая пересекалась с приездом Антона. О том, что у заведующего есть доступ ко всем картам. Но внутри разрывалось: доверять ли заведующему, который признался, — ... который признался, что доступ есть у него и у Светланы, но ни один из них не исправил пометку? Или Антон, который помог ей, — случайный помощник или часть схемы?

Она зажала карту так, что угол впился в ладонь. Журнал сменных наблюдений лежал в другой руке, тяжёлый, с разбухшими от влаги страницами. Она сунула его под мышку и пошла по коридору, не глядя по сторонам.

Запах хлорки стал резче. Она остановилась. Перед ней бы-

ла дверь прачечной, приоткрытая, с полосой света на пороге. Внутри кто-то говорил. Она прижалась плечом к стене.

— ...он не помнит, как падает. Вообще не помнит. Это не нормально.

Голос Антонины. Глухой, с хрипотцой.

— А ты уверена, что он не врёт?

Второй голос. Женский, сухой, с картофельным оттенком. Ева узнала его. Светлана Борисовна.

— Зачем ему врать? Он вообще не говорит. Я сама видела, как он упал в прошлый раз. В коридоре. Он шёл, и вдруг — нет. Просто нет. Как будто кто-то выключил свет.

— И ты не позвала врача?

— Я позвала. Врач сказал — сотрясение. Отлежится.

— А ты видела запись в карте?

Антонина помолчала.

— Я не умею работать с системой. Ты знаешь.

— Антон умеет.

— Антон — сантехник. Он чинит краны, а не карты.

Светлана Борисовна усмехнулась.

— Антон делает больше, чем ты думаешь.

Ева замерла. В прачечной скрипнул стул.

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего. Просто будь осторожнее с тем, кому ты доверяешь.

Шаги. Светлана Борисовна вышла из прачечной, и Ева отступила в тень. Женщина прошла мимо, не заметив её, —

серая спина, папка под мышкой, запах сухих духов.

Ева выждала. Потом вошла в прачечную.

Антонина стояла у сушилки, спиной к двери. Она обернулась, когда Ева закрыла за собой дверь.

— Ты слышала.

— Да.

Антонина вытерла руки о фартук.

— Я не знала, что она здесь будет.

— Она приходила к тебе?

— Нет. Она приходила к Антону. Но он в ординаторской. Она спросила, где он.

Ева смотрела на неё. Антонина отвела взгляд.

— Что она говорила про Антона? — спросила Ева.

— Ничего. Просто предупредила.

— Предупредила?

Антонина пожала плечами. Она взяла корзину с бельём, поставила на край ванны.

— Ева. Я не хочу в это влезать. У меня стирка, ужин, лекарства. Я не хочу знать, кто переводит карты и кто падает.

— Борис падает.

— Борис всегда падал. Даже до того, как приехал этот санитар.

Ева замерла.

— Что?

Антонина замолчала. Она поняла, что сказала лишнее.

— Антонина.

— Я не знаю. Я ничего не знаю.

— Ты сказала — до того, как приехал санитар. Ты знала, что Борис падал и раньше?

Антонина стояла, сжав край корзины. Пальцы у неё побелели.

— Я видела, как он падал. Три раза. За год до приезда санитар.

— И ты не сказала никому?

— Я говорила заведующему. Он сказал — сотрясение. Отлежится.

Ева смотрела на неё. Антонина не поднимала глаз.

— Заведующий знал.

— Он знал. Но он сказал, что это случайность. Борис пьёт лекарства, они дают слабость. Он сам говорил.

— Борис говорил, что не помнит, как падает.

Антонина подняла голову.

— Я знаю. Я поэтому и сказала заведующему. А он... он сказал, что Борис стар. Что у него память уже не та.

Ева сжала журнал под мышкой. Страницы скользили под пальцами.

— Спасибо, Антонина.

— Ева. Будь осторожнее.

— Ты уже говорила.

— Теперь я говорю серьёзнее.

Ева вышла из прачечной. Коридор был пуст. Она шла быстро, не глядя по сторонам. Журнал стучал по бедру.

Она открыла дверь своей комнаты. Вошла. Закрыла за собой.

Села на кровать. Разложила журнал на коленях. Открыла на неделе, когда приехал новый санитар. Провела пальцем по строкам. Даты совпадали. Потом открыла на неделе за год до приезда. Нашла записи о Борисе. Три записи. Три падения. В разделе «Примечания» — одна фраза, написанная от руки, чужая, не её почерк: «Уточнить характер падений».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.